

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Третейский суд - Анненков, как издатель Пушкина -

- Смирдин о жене поэта - Островский - "Свои люди

- сочтемся" - "Завтрак у предводителя" - Крымская война

В начале пятидесятых годов, в кружке "Современника" состоялся третейский суд: судились между собой два коротких приятеля литераторов, Тютчев [158] и Языков, бывшие постоянными членами кружка с самого начала приезда Белинского в Петербург.

Эти два приятеля затеяли открыть комиссионерскую контору для провинциальных жителей, которые могли бы выписывать чрез контору все, что им было нужно, начиная с вещей в полтину до тысячных.

Тургенев и Анненков принимали живое участие в основании этой конторы, потому что были интимными друзьями семейства Тютчева, которому пришла мысль открыть контору для увеличения своих средств к жизни, но он не имел денег, а Анненков и Тургенев уговорили Языкова отдать на это предприятие все свои деньги, суля ему огромные барыши [159].

Один давнишний знакомый Панаева и Языкова отговаривал последнего пускаться в коммерческое предприятие и доказывал, что условия с компаньоном нелепы.

В самом деле, по условию, предложенному Языкову, барыши делились пополам с компаньоном, а за все расходы и убытки отвечал один Языков; кроме того, Языков должен был платить компаньону три тысячи рублей жалованья.

Все переговоры с Языковым о конторе происходили через Тургенева и Анненкова. Языков вполне доверился им и так был увлечен, что никого не хотел слушать, отдав все свои деньги Тютчеву, чтобы он распорядился устройством конторы. Языков очень гордился своим демократическим поступком, выставив свою дворянскую фамилию на вывеске конторы.

Тогда русское дворянство считало унижением пускаться в коммерческие дела, не только выставлять свою фамилию на вывесках.

Для открытия конторы Языкову надо было записаться в купцы, и он, придя к Панаеву вечером, когда были гости, спросил: "Господа, вы принимаете в свое общество купца?" Все рассмеялись его вопросу, а Анненков, хлопая по плечу Языкова, отвечал ему: "Такого почтенного коммерсанта мы, литераторы, с радостью принимаем" [160].

Разговоров об этой конторе было в кружке много, и когда получена была из провинции первая повестка выслать на рубль иголок, то в тот же вечер Тютчев созвал гостей-литераторов и угостил их обильным ужином. Тютчев на широкую ногу устроил контору; нанята была на Невском большая квартира, на одной половине поместился он сам с семейством, а другая была занята конторой; наняты были несколько артельщиков, упаковщиков и т.п., как будто бы контора была завалена заказами. Рекламы о конторе очень дорого стоили, так что деньги Языкова быстро исчезли, а контора не принесла в первый год никаких барышей, и Языкову пришлось занимать деньги для уплаты за квартиру и другие текущие расходы по конторе.

Тургенев и Анненков утешали Языкова, говоря, что всякое предприятие с первого года не дает барышей и что Тютчев так отлично ведет дело, что оно в будущем году даст большие выгоды. По-видимому, дело пошло хорошо, потому что Тютчев подарил жене тысячный рояль, дорогой мех для салопы и вообще зажил комфортабельно. Языков же, напротив, очень нуждался с своим семейством и не смел требовать от Тютчева ни малейшего сведения о том, как идут дела в конторе. Когда же до Языкова стороной дошли жалобы на контору, что она неисправно выполняет заказы, и он решился спросить разъяснения у своего компаньона, то вышла буря. Тургенев и Анненков прочли ему нотацию о неделикатности и доказывали, что он

оскорбил недоверием не только своего компаньона, но и его жену, так как она, не жалея своего здоровья, целое утро ездит по лавкам и магазинам, выполняя заказы иногородних дам; в конце концов они заставили Языкова извиниться перед Тютчевым.

Между тем жалобы на контору все более и более умножались, заказчики возвращали полученные через нее вещи назад и требовали обратно деньги.

Например, тысячное ружье получалось со сломанной ложей от плохой укладки; в выписанном сервизе половина посуды оказалась перебитой; ильковая дорогая шуба была сделана по мерке миниатюрной дамы, а этой даме прислан был шелковый салоп на рослого плечистого мужчину.

Медленность выполнения заказов простиралась до того, что меховую бархатную шубу, заказанную в сентябре, заказчица получила только летом.

Понятно, что заказы конторе прекратились и убытки от подобных небрежных выполнений были крупные. Пришлось ликвидировать дело, и 15 000 рублей залога едва хватило, чтобы покрыть все потери. Языков был убит: вместо барышей - он потерял все свои деньги, да еще сделал долг. Тургенев и Анненков придумали домашний третейский суд, чтобы защитить честь Тютчева, которого многие обвиняли в разорении Языкова. Но из этого судбища ничего нельзя было понять. Анненков, как председатель суда, выслушав Языкова, говорил ему: "Вы, Михаил Александрович, вполне правы: как хозяин конторы, вы потерпели убытки", - и проч.

А обращаясь к Тютчеву, говорил ему: "Вы, Николай Николаевич, совершенно правы: исполняя добросовестным образом ваши многотрудные обязанности, не жалея своего здоровья", - и проч. Так что в продолжение двух часов только и было слышно от Анненкова то одной, то другой стороне: "Вы правы и вы правы".

Впрочем, положение Анненкова было затруднительное. Ему хотелось сохранить прежние приятельские отношения между Языковым и Тютчевым, а потому он старался, чтобы весы правосудия в его руках находились в равновесии.

Я была в недоумении - для чего хлопотали устроить этот третейский суд?

Языков по окончании суда сострил:

- Я, господа, теперь настоящий купец - обанкротился и судился!

Он, в сущности, более всего был опечален тем, что его дружеские отношения к Тургеневу и Анненкову пострадают, так как они оба очень благоволили к семейству Тютчева. На Тургенева в этом семействе смотрели с благоговением и ухаживали за ним в высшей степени. Сначала, когда Тургенев только что познакомился с этим семейством, которое состояло из жены Тютчева, тещи и свояченицы-барышни, то смеялся над ухаживанием за ним мелкопоместных помещиц, вообразивших, что они могут женить его на пухлой и глупой провинциальной барышне. Вообще сперва он отзывался не очень лестно и о жене Тютчева, называя ее "иезуитом в юбке".

Но потом, конечно, изменил свое мнение, и когда получил наследство, то Тютчев с семейством отправился управляющим в его имение. Тургенев говорил:

- Я так рад, что Тютчев решился из дружбы ко мне бросить свою службу и поехать управлять моим имением. Я сам плохо понимаю в сельском хозяйстве, да и не могу долго сидеть в деревне, а никакому патентованному управляющему не решусь доверить своих крестьян. Я знаю, как они все смотрят на мужика. В гуманном же взгляде на крестьян Тютчева я совершенно уверен, как и в его честности, и буду покоен, что никаких притеснений мои крестьяне не будут терпеть. Да и Тютчев будет не управляющий, а полный хозяин, а я буду гостем в своем имении.

Тютчев, однако, пробыл недолго управляющим у Тургенева. Прожив лето в деревне, Тургенев осенью вернулся в Петербург и удивил меня жалобами на Тютчева. Он говорил Некрасову и Панаеву:

- Тютчев меня разорил, я, по его милости, не получу и четверти того дохода, который всегда получался с имения. Это какой-то сумасшедший!.. Вообразите - вздумал платить мужикам за подводы; баб за расчистку сада поденно рассчитывал, а! каково вам это покажется? Направо, налево раздает мужикам займы хлеб, покупает им лошадей, коров!.. Одним словом, действует как человек, который задался задачей разорить меня! Ничего не понимает в сельском хозяйстве, все путает, хаос какой-то наделал! Набаловал так крестьян, что с ними теперь не будет сладу. Я просто в отчаянии! Целое лето я черт знает как провел, точно был в своем имении приживальщик. Если мне нужно ехать куда-нибудь, я должен спрашиваться, могу ли взять экипаж, потому что семейство моего управляющего, может быть, вздумает ехать в гости к соседям. Назовут к себе гостей, которые живут по нескольку дней у меня в доме, и я должен еще любезничать с ними! Это только со мной могут такие вещи проделывать!.. Что я теперь буду делать? Оставить его - значит полное разорение!

- Почему же ты, уезжая из имения, не объяснился с Тютчевым? - спросил его Некрасов.

- Помилуй, да я находился в таком положении, что слова не смел сказать, сейчас все дуются на меня, третируют хуже лакея; я был несчастнейший человек и нашел самым лучшим бежать скорей из своего имения. Анненков мне советует послать другого управляющего, но я на это не решусь! Меня живого съедят дамы Тютчева, да и он начнет везде кричать, что я поступил с ним безбожно! Нет, пусть все пропадает!!!

Однако Тургенев все-таки решился послать в имение другого управляющего, человека вполне опытного.

Тютчев вернулся с семейством в Петербург в страшном неудовольствии на Тургенева и обвинял его в том, что он тоже разорил его:

- Я бросил для него казенное место, распродал всю мебель, - жаловался Тютчев. - Иван Сергеевич умолял меня ехать в его имение не как управляющего, а как своего друга, которому он только может верить своих крестьян, зная мой гуманный взгляд на них, предоставлял мне быть полным хозяином в его имении. И вдруг, не объяснясь со мной, уехал из имения, и чрез месяц прислал управляющего с уполномочиением принять от меня все дела!.. Так не поступают даже с простым управляющим, а не только с человеком, с которым столько лет находился в самых дружеских отношениях. И на что он изъясляет свое неудовольствие? На то, что я слишком баловал его крестьян! Он должен был знать, что я не способен к роли угнетателя и не мог выжимать все силы из крепостного мужика. Каких-нибудь 50 копеек давал я за подводу, когда она нужна была для барского дома, и мне это ставится в укор, будто я разоряю его!

Слушая жалобы и претензии с двух сторон, трудно было разобрать, кто из них прав, кто виноват. Анненков так же, как и на третейском суде, балансировал в споре между Тургеневым и Тютчевым. Слушая жалобы Тургенева на управление его имением бывшего своего друга, он поддакивал: "Да, да, странный человек Тютчев, ты совершенно прав!"

Когда же Тютчев осуждал при нем Тургенева, Анненков восклицал: "Эх, ветреник этот Иван Сергеевич; вы правы, Николай Николаевич", - и проч.

Не знаю, как в другом обществе вел себя Анненков, но в кружке Белинского он никогда не высказывал своих мнений, а лишь поддакивал авторитетным личностям; с остальными же обходился как-то начальнически, говорил деловым тоном, но чуть только человек начинал приобретать известность в литературе, Анненков тотчас же делался его другом.

Это резко было видно на Тургеневе. Когда он, при начале своего литературного поприща, еще не имел известности, то Анненков игнорировал его и даже называл ""аристократом".

Тургенев тоже сначала говорил об Анненкове:

- Заметили вы, господа, что от Анненкова никогда не услышишь его собственного мнения, о чем бы то ни было; он ограничивается только поддакиванием. Большой промах сделал он, избрав себе литературную карьеру; с его бездарностью он всегда будет только повторять чужие мысли. Это ходячая контрафакция. Я часто для потехи говорю ему одно, и он глубокомысленно поддакивает мне, через несколько времени говорю другое, и он точно так же поддакивает. Если бы он избрал чиновничью карьеру, то начальство вытянуло бы его за уши на видное место за его умение поддакивать. Как он увивается за Белинским, - точно мелкий чиновник за своим непосредственным начальником. Но что замечательно в нем, это простодушие в его постоянном смехе, которым он старается замаскировать свою проницательную натуру.

Очень часто литераторы рассуждали о том, что после смерти Пушкина не издаются его сочинения.

Раз один молодой человек, не литератор, но ярый поклонник русской литературы, на вечере у Панаева сказал:

- Вам, литераторам, надо было бы давно соединенными силами купить у наследников право и издать полное собрание сочинений Пушкина. Какую бы благодарность вы заслужили от русской публики. Право, стыдно вам так равнодушно относиться к таким замечательным поэтам.

Завязался по этому поводу разговор; литераторы оправдывались тем, что надо много денег.

- Полноте, господа, если бы вы захотели, то деньги нашлись бы. Можно было бы устроить издание на акциях. Я первый возьму несколько акций и берусь доставить вам десятки акционеров; соберется капитал и приступайте к изданию. Ну, сколько приблизительно будет стоить издание? - спросил он, обращаясь к Некрасову как компетентному лицу из присутствующих.

Некрасов сказал приблизительную цифру, во что может обойтись издание Пушкина.

Некоторые литераторы начали доказывать, что затрата денег так велика, что издание не окупит расходов. Некрасов возражал, что, напротив, оно даже принесет большой барыш, и прибавил:

- В самом деле, господа, надо бы нам сообща серьезно обсудить это дело. Каждый внесет сумму по его средствам; ну, вообразим, хотя это и немислимо, что барыша не получим, но пайщики во всяком случае не потеряют своих денег. Надо сделать два издания: одно на хорошей бумаге, крупной печатью, а другое - компактное, чтобы каждому бедняку было доступно купить Пушкина. Продажа пойдет бойко, - это верно.

Очень часто в кружке толковали о разных литературных полезных предприятиях, но из этих толков не выходило, обыкновенно, никаких результатов.

Не прошло и месяца после вечера, на котором говорилось об издании сочинений Пушкина, как Панаев встретил на Невском одного господина, часто бывавшего в доме вдовы Пушкина, уже вышедшей замуж за генерала Ланского; этот господин рассказал ему, что Анненков чрез своего брата, коротко знакомого с Ланским, купил право на издание сочинений Пушкина.

Панаев вернулся домой и за обедом, к которому собрались Тургенев и еще несколько литераторов, сообщил эту важную новость.

- Каков наш простодушный русский кулачок, - воскликнул Тургенев, - хоть бы словечком обмолвился о своих замыслах! Это ты все виноват, Некрасов; помнишь, раз вечером высчитывал барыши, какие можно получить от издания Пушкина - вот и раззадорил аппетит у Анненкова на наживу денег!.. Но Боже мой! воображаю, как наш "Кирюша" издаст Пушкина, если сам будет редактировать! О, несчастный Пушкин, я думаю, его кости содрогнутся в могиле от ужаса, что он попал в руки такому бездарному издателю [161]!

- Но, вероятно, Анненков будет просить советов у всех в таком важном деле, - заметил кто-то.

- Он даже обязан это сделать, так как сам лицо не компетентное в поэзии, - сказал Панаев. - Издать Пушкина надо добросовестно, и нельзя полагаться на одного себя; надо, чтобы другие литераторы приняли самое горячее участие и сообща потрудились бы над таким изданием.

- Как вы все наивны, господа! - сказал Тургенев, - такие люди, как Анненков, до такой степени самонадеянны, что не признают чужих советов, особенно где дело идет о барышах. Да притом он пожелает, чтобы ему одному принадлежала честь издания Пушкина... Имя Анненкова, как литератора, до сих пор никому не было известно, а тут оно будет красоваться на каждом экземпляре Пушкина.

В этот вечер у Панаева должен был собраться весь кружок литераторов, и все нетерпеливо ждали прихода Анненкова. Тургенев упрашивал всех, чтобы не начинать разговора с Анненковым о его приобретении, желая посмотреть - заговорит ли он сам об этом. Анненков явился, но ни слова не сказал о своей покупке. Панаев не вытерпел и сказал ему:

- А ты должен сегодня угостить нас всех шампанским.

- Нет, ужином у Дюссо! - крикнули несколько голосов.

Всем была известна расчетливость Анненкова, который никогда не истратил гроша, чтобы угостить кого-нибудь обедом или ужином.

- Да, да, ужином с трюфелями и большим количеством шампанского, надо сделать вспрыски, - опять раздались голоса.

Анненков понял, в чем дело, но делал вид недоумевающего человека.

- Что с вами, господа? Какие вспрыски?

- Не отвиливайте, нам всем известна ваша покупка права издания сочинений Пушкина, - сказал Г.

- Это вовсе не я купил, а мой брат, - ответил Анненков.

Раздался общий хохот, потому что все знали, что его брату подобная мысль не могла прийти в голову, так как это был человек, совершенно не интересовавшийся русской литературой [162].

- Хотите, я вам документ покажу, - воскликнул | Анненков.

- Нам нужен не документ, а ужин, - отвечали ему. Анненков пожал плечами, засмеялся своим обычным; громким принужденным смехом и произнес:

- Вот шутники, рады придраться ко всему, чтобы , поужинать у Дюссо... Извольте, господа, я вас угощу ужином, когда выйдет издание!

- Тогда обедом! а теперь ужином, - крикнул Тургенев. Все подтвердили это требование.

- Обедом, ужином! - воскликнул Анненков, - да знаете ли, господа, расходы по изданию будут так огромны, что вряд ли оно окупится.

- Ну, Анненков, ты тогда и не подумал бы издавать Пушкина! - заметил Некрасов [163].

- Я не о барышах думаю, - обидчиво отвечал Анненков. - Я не умею спекулировать литературой. Некрасов понял намек и язвительно проговорил:

- Да, значит, ты с благотворительною целью предпринял это издание.

Видя, что разговор переходит на личные счеты, присутствующие поспешили прекратить его и стали расспрашивать Анненкова о подробностях его приобретения.

Анненков каждый день утром употреблял несколько часов для разбора бумаг Пушкина в квартире генерала Ланского.

С Анненкова взято было честное слово, что он все частные письма и вообще все бумаги, касающиеся семейных дел, не будет читать, а только выберет те бумаги, которые ему будут нужны для издания. Однако Анненков рассказывал в кружке, какие пасквильные анонимные письма писались Пушкину о его семейных делах и что он нашел в бумагах начатое письмо Пушкина к какому-то своему другу, в котором Пушкин в самых мрачных красках описывал свое семейное положение.

Кстати упомяну, что я слышала еще в 40-м году от книгопродавца Смирдина о Пушкине.

Панаеву понадобилась какая-то старая книга, и мы зашли в магазин Смирдина. Хозяин пил чай в комнате за магазином, пригласил нас туда и, пока приказчики отыскивали книгу, угощал чаем; разговор зашел о жене Пушкина, которую мы только что встретили при входе в магазин.

- Характерная-с, должно быть, дама-с, - сказал Смирдин. - Мне раз случилось говорить с ней... Я пришел к Александру Сергеевичу за рукописью и принес деньги-с; он поставил мне условием, чтобы я всегда платил золотом, потому что их супруга, кроме золота, не желала брать других денег в руки. Вот-с Александр Сергеевич мне и говорит, когда я вошел-с в кабинет: "Рукопись у меня взяла жена, идите к ней, она хочет сама вас видеть", - и повел меня; постучались в дверь; она ответила "входите". Александр Сергеевич отворил двери, а сам ушел; я же не смею переступить порога, потому что вижу-с даму, стоящую у трюмо, опершись одной коленей на табуретку, а горничная шнурует ей атласный корсет.

- Входите, я тороплюсь одеваться, - сказала она. - Я вас для того призвала к себе, чтобы вам объявить, что вы не получите от меня рукописи, пока не принесете мне сто золотых вместо пятидесяти. Мой муж дешево продал вам свои стихи. В шесть часов принесете деньги, тогда и получите рукопись... Прощайте...

Все это она-с проговорила скоро, не поворачивая головы ко мне, а смотрелась в зеркало и поправляла свои локоны, такие длинные на обеих щеках. Я поклонился, пошел в кабинет к Александру Сергеевичу и застал его сидящим у письменного стола с карандашом в одной руке, которым он проводил черты по листу бумаги, а другой рукой подпирал голову-с, и они сказали-с мне:

- Что? с женщиной труднее поладить, чем с самим автором? Нечего делать, надо вам угодить мою жену; ей понадобилось заказать новое бальное платье, где хочешь, подай денег... Я с вами потом сочтусь.

- Что же, принесли деньги в шесть часов? - спросил Панаев.

- Как же было не принести такой даме! - отвечал Смирдин.

За достоверность этого рассказа, конечно, не могу ручаться, а передаю только то, что слышала [164].

Когда полное собрание сочинений Пушкина вышло, то Тургенев очень горячился и говорил, что "надо отодрать такого издателя" жестоко розгами, и находил, что хуже трудно было издать Пушкина.

- Я ничего хорошего и не ждал, - твердил он, - но это превзошло мои ожидания, а еще Анненков хвастался - сколько у него материалов в руках!.. Это обидно, возмутительно!

По общему мнению, издание сочинений Пушкина вышло плохое. Но сам Анненков так высоко поднял голову и заговорил таким авторитетным тоном, что Некрасов сказал:

- Анненков, вероятно, думает, что и он воздвигнул себе памятник нерукотворный! Тургенев воскликнул: "позорный!"

О появлении комедии А.Н.Островского "Свои люди - сочтемся" много было разговоров в кружке [165]. Некрасов чрезвычайно заинтересовался автором и хлопотал познакомиться с Островским и пригласить в сотрудники "Современника".

Не помню, через посредство кого произошло знакомство Островского с кружком "Современника", но очень хорошо помню обед, на котором в первый раз присутствовал Островский и на который были приглашены все сотрудники "Современника".

Островский первый раз явился в кружке с актером И.Ф.Горбуновым, тогда только поступившим на императорскую сцену на самые маленькие роли.

[Впрочем, и впоследствии в каждый свой приезд из Москвы Островский постоянно являлся в сопровождении Горбунова.

Обед, данный для Островского, был очень оживлен, потому что Горбунов потешал всех своими рассказами.

Островский любовно улыбался на рассказчика, как любящий отец на своего сына, а Горбунов благоговел перед Островским; и это благоговение было самое искреннее.

Я никогда не слыхала от Островского каких-нибудь рассказов о частной жизни литераторов. Хотя Островский и жил в Москве, но это не помешало любителям распространять слухи о его частной жизни: будто он пьет без просыпу и толстая деревенская баба командует над ним.

Когда рассказчику заметили, что Островский, кроме белого вина, ничего не пил за обедом, то на это следовало объяснение, что Островский, приезжая в Петербург, боится выпить рюмку водки, потому что тогда он уже запьет запоем. Но, кроме слухов о его частной жизни, появились и другие.

Раз прибегает в редакцию литератор, известный вестовщик всяких новостей, и совершенно как в "Ревизоре" Добчинский, захлебываясь, передает, что "Свои люди - сочтемся" принадлежат одному пропившемуся кутиле, купеческому сыну, который принес рукопись Островскому исправить, а Островский, исправив ее, присвоил себе. Когда стали стыдить литературного Добчинского в распространении нелепой новости, то он клялся, что это достоверно, что его знакомый москвич знает этого кутилу купеческого сына, который сам ему жаловался на Островского в утайке его рукописи [166].

Очень смешно мне было видеть, когда литературный Добчинский присутствовал при чтении второй комедии Островского и восторгался новой его пьесой, забыв уже, что усердно распространял нелепейшие слухи о присвоении им чужой рукописи.

Островский читал свои пьесы с удивительным мастерством; каждое лицо в пьесе - мужское или женское - рельефно выделялось, и, слушая его чтение, казалось, что перед слушателями разыгрывают свои роли отличные артисты. Много было неприятностей и хлопот Островскому, чтобы добиться постановки первой своей комедии на сцену, но потом каждая его новая пьеса, поставленная на Александрийской сцене, составляла событие как для артистов, так и для публики, а также для дирекции, потому что сборы были всегда полные.

Островский, когда ставились его пьесы на сцену, приезжал из Москвы, и много возился с артистами, чтобы они хорошенько вникли в свои роли. Островский чуть не до слез умилялся, если артист или артистка старались исполнить его указание. К Мартынову он чувствовал какое-то боготворение. Островский был исключением из драматургов по своей снисходительности к артистам. Он никогда не бранил их, как другие, но еще защищал, если при нем осуждали игру какого-нибудь из артистов.

- Нет, он, право, не так плох, как вы говорите! - останавливал Островский строгого критика. - Он употребил все старание, но что делать, если у него мало сценического таланта.

Не то было с Тургеневым; он приходил с репетиций обедать к Панаеву, когда ставилась его пьеса "Завтрак у предводителя", бесновался и говорил:

- Это не артисты, а балаганные паяцы! Они воображают, что в грубой шаржировке и кривляньи вся суть сценического искусства, да и как могут быть они хорошими артистами, когда поголовно круглые невежды! Провалят мою пьесу, опозорят меня!

Тургенев в день спектакля (9 декабря 1849) ничего не ел за обедом, так был ажитирован. Панаев его утешал тем, что взял честное слово с своих знакомых молодых людей, что они будут в театре. "Мы тебя вызовем, будь покоен!" - говорил он.

Тургенев должен был остаться довольным, приехав в спектакль: кроме всех членов кружка "Современника" и других литераторов, явившихся смотреть его пьесу, первые ряды кресел были заняты блестящей молодежью, знакомыми Панаева.

Вообще, тогда высшее общество считало почему-то неприличным бывать в Александрийском театре и посещало только Большой и Михайловский театры.

Автора дружно вызвали, и Тургенев из директорской ложи раскланивался с публикой. Пьеса разыграна была очень хорошо. Сосницкий и Линская были превосходны в своих ролях. Мартынов, у которого вся роль состояла из двух-трех фраз, сделал из нее первую роль, такая замечательная мимика была у него в каждом движении, в каждом взгляде.

В этой бессловесной роли он показал, как был велик его сценический талант.

"Завтрак у предводителя", однако, недолго продержался в репертуаре, потому что постоянная публика Александрийского театра так привыкла к пошлым водевилям, что тонкий и настоящий юмор был ей не по вкусу.

Я была на третьем представлении "Завтрака у предводителя", и мне было досадно, что двое приживальщиков Тургенева оказали ему медвежью услугу, вздумав вызывать автора: их голоса были заглушены дружным шиканьем.

Тургенева это страшно огорчило, и он, в горячности, давал клятву, что для такой тупоумной публики никогда более не будет писать пьес. В сущности, он был прав, потому что его пьеса была перлом между теми пьесами, которые давались тогда на русской сцене... Через несколько времени, однако, Тургенев опять написал пьесу - "Провинциалку", и поставил ее на

сцену. Эта пьеса держалась в репертуаре дольше, потому что в ней играли две любимицы публики: Вера Васильевна Самойлова и Снеткова. Если не ошибаюсь, Щепкин, приехавший в Петербург на гастроли, взял эту пьесу для своего бенефиса.

Щепкин был уже стар и в сцене признания, что он отец богатой помещицы, так расчувствовался, что расплакался и едва мог говорить свою роль.

Островский приехал в Петербург летом хлопотать о постановке своей комедии на Александрийской сцене, а в это время уже готовилась Крымская война.

За обедом присутствующие только и говорили, что о войне.

Островский не принимал никакого участия в жарких спорах о предстоящей войне, и когда Тургенев заметил ему, неужели его не интересует такой животрепещущий вопрос, как война, то Островский отвечал:

- В данный момент меня более всего интересует, дозволит ли здешняя дирекция поставить мне на сцену мою комедию.

Все ахнули, а Тургенев заметил с многозначительной улыбкой:

- Странно, я не ожидал такого в вас равнодушия к России!

- Что тут для вас странного? Я думаю, что если бы и вы находились в моем положении, то также интересовались бы участью своего произведения: я пишу для сцены и, если мне не разрешат ставить на сцену свои пьесы, я буду самым несчастнейшим человеком на свете.

Когда Островский и другие гости разъехались, и остались самые близкие, Тургенев разразился негодованием на Островского:

- Нет, каков наш купеческий Шекспир [167]?! У него чертовское самомнение! И с каким гонором он возвестил о том, что постановка на сцену его комедии важнее для России, чем предстоящая война. Я давно заметил его пренебрежительную улыбочку, с какой он на нас всех смотрит: "Какое вы все ничтожество перед моим великим талантом!"

- Полно, Тургенев, - остановил его Некрасов, - ты, когда расходишься, то удержи тебе нет! В тебе две крайности - или ты слишком строго, или чересчур снисходительно относишься к людям; а на счет авторского самолюбия, то у кого из нас его нет?.. Островский только откровеннее других.

- Я, брат, при встрече с каждым субъектом делаю ему психический анализ и не ошибаюсь в диагнозе, - ответил Тургенев.

Некрасов улыбнулся, да и другие также, потому что было множество фактов, как Тургенев самых пошлых и бездарных личностей превозносил до небес, а потом сам называл их пошляками и дрянцой...

Мы жили на даче между Ораниенбаумом и Петергофом, на берегу моря, когда неприятельская эскадра появилась около Кронштадта, и один пароход появился в туманное утро почти у самой крепости, тогда как все были уверены, что невозможно пройти, потому что фарватер был затоплен судами.

Пароход этот был виден с берега, с нашей дачи; он постоял немного и скрылся. Из кронштадтской крепости началась такая страшная канонада, что у нас на даче дрожали стекла, а дача стояла на расстоянии 6-ти верст от крепости. По шоссе в Ораниенбаум скакали экипажи, верховые, артиллерия, конница, шла форсированным шагом пехота, тянулись полковые обозы.

Я видела, как на тройке в коляске проскакал государь Николай Павлович к Ораниенбауму и за ним несколько генералов.

У государя было мрачное выражение лица, но он с обычным величавым спокойствием смотрел по сторонам на войска, идущие по дороге.

Когда он ехал назад, его нельзя было узнать, он сидел в коляске с поникшей головой, и глаза его были закрыты, точно он спал. Бледность его лица была мертвенная.

Из Петергофа на дачу к нам часто ездила одна компетентная личность в военном деле, Д.А.Милютин. Он был тогда еще не в большом чине. Когда его спросили - готовы ли мы к войне, которая, по ходу дипломатических отношений французского двора к русскому, была неизбежна, то Милютин отвечал: "По бумагам мы вполне готовы! Но с первых же военных действий обнаружится страшный недостаток во всем: все озабочены вовсе не тем, чем следует. На вес золота будут покупать селитру, запастись которой и не думают, а когда начнется война, то ее доставка будет невозможна из-за границы; медицинская часть тоже в плачевном состоянии: операционных инструментов мало, да и то плохие, докторам придется тупыми ножами ампутировать раненых. Интендантство в таком жалком виде, что и в мирное время никуда негодно, а в военное оставит войско без сапог, без шинелей и без сухарей... Все прекрасно для парадов и никуда негодно для войны. Не столько погибнет русских солдат от войны, сколько - от болезней, вследствие отсутствия гигиенических мер, которые необходимо должны быть предусмотрены высшим начальством".

Все предсказания Милютина, к несчастью, оправдались в Крымскую войну... Милютин постоянно бывал в кружке литераторов и пользовался общим уважением по своему образованию, а главное - по своим либеральным взглядам. Он много говорил о необходимости коренных преобразований по всем частям военного ведомства.

Все сожалели, что такой гуманный и знающий человек в военном деле по своему чину не имеет голоса и едва ли может дослужиться до такого положения, которое дало бы ему возможность провести в жизнь его взгляды на реформы, потому что он так был слаб здоровьем. Милютин едва передвигал ноги и постоянно жаловался на слабость своих сил. Мне пришлось, однако, видеть, как служебная карьера Милютина постоянно повышалась, а вместе с тем исчезала его физическая слабость; когда же он выдвинулся на вид, то сделался совершенно бодрым, и все болезни с него сняло, как рукой [168].

Все литераторы, которые его знали, радовались его повышению и восхищались простотой его обхождения со всеми, когда он достиг значительного поста и по-прежнему являлся к Панаеву на литературные собрания, внимательно прислушиваясь к суждениям некоторых личностей, выделявшихся в 60-х годах своими серьезными статьями в "Современнике". Особенно Милютин ухаживал за Чернышевским, всегда усаживался за ужином около него и допытывался его мнений о реформах.

Чернышевский был очень близорук, и часто Милютин, услуживая ему за ужином, подавал ему блюдо.

На меня все восставали, когда я недоверчиво относилась к простоте и любезностям Милютина, которыми все восхищались. Последствия доказали, что я не ошиблась. Как только Милютин достиг власти, то одним из первых его дел было запрещение полковым библиотекам выписывать "Современник". Это известие так ошеломило Панаева, что он не хотел сначала ему верить, но, к своему крайнему огорчению, должен был преклониться перед неопровержимым фактом.

Вместе с тем Милютин сильно повредил Чернышевскому, которому так услуживал прежде, высказав о нем мнение, как о самом вредном человеке по своему образу мыслей.

Многим теперь покажется странным, для чего было нужно таким людям заискивать расположение в литераторах. Но после Крымской войны печатное слово получило вес в

обществе; все сознавали, что необходим прогресс во всем, и с жадностью набросились на чтение журналов, которые, по возможности, обсуждали реформы, предпринимаемые в России.

Милютину нужна была популярность, и он увивался около тех литераторов, которые своим умом и многосторонним знанием приобрели авторитетный голос в печати.

Многие общественные деятели искали тогда поддержки в литературе.